НАУКА И ТОТАЛИТАРИЗМ: 70-е годы *

А.М.Вершик

Взаимоотношения советской власти и науки начались с печально знаменитых пароходов, на которых по приказу Ленина были высланы за границу выдающиеся ученые–гуманитарии Петербурга и России; высылка была милостивой заменой высшей меры. Они были не нужны и даже вредны для новой власти. Высылки и вынуждение к эмиграции, как "идеологический" аргумент возобновились в иной форме в 70-х годах, а в промежутке использовались куда более сильные полемические средства.

Наука, возможно, в неменьшей степени, чем литература и искусство является потенциальным оппонентом тоталитарной власти, а затем, после победы этой власти, — ее добычей. Читающий строки Ленина об интеллигенции должен приходить в изумление и ужас от той брызжущей ненависти, с которой вождь пролетариата пишет о ней. Какая злоба! Какой стиль! ("...не мозг нации, а г...") Всякая тирания должна ненавидеть ищущую мысль, сомнение, и, следовательно, всякого сомневающегося. Она может снисходительно относится лишь к верным слугам, но не к оппонентам. Ведь она обладает "объективной" истиной и всесильным единственно верным учением. Есть и более глубокие причины, характерные для идеологии марксизма–ленинизма–сталинизма: они лежат в ее "доступной поверхностности", благодаря которой создается иллюзия простоты и универсальности способов решения всех социальных и экономических проблем, объяснения всего сущего с помощью трюизмов. Наивная толпа, несведущие и не имевшие опыта люди охотно погрузились в этот иллюзорный, упрощенный до крайности черно–белый мир; в нем, к сожалению, живут многие в стране до сих пор. Но поскольку в жизни нет простых решений, и объяснения происходящего не сводится к тривиальностям, то для спасения веры требуется оградить общество от умников, мудрецов и от правды вообще. Так с неизбежностью возникают железные занавесы, отделы пропаганды, управления КГБ и весь многосложный аппарат подавления мысли и производства лжи, насаждающий двоемыслие, которое становится нормой жизни. То, что устроители нашего будущего не предвидели роли науки и технологии, и вообще, возможных путей развития общества, еще простительно, — сама наука тогда занимала иное положение в обществе, и с их обскурантизмом было естественно объявлять "наукой мракобесов" все, что выше их понимания. Теоретическая

*Я благодарен организаторам конференции "70-е годы: Общество и тоталитаризм", организованной журналом "Звезда" и обществом "Мемориал" за приглашение выступить на ней; настоящая статья основана на материале, подготовленном для выступления на этой конференции. Гонорар за статью прошу перечислить в фонд для издания самиздатского журнала "Сумма".

основа их потребительского отношения к мысли и науке в том, что марксистская модель будущего, якобы решала окончательно все принципиальные вопросы человеческого бытия, и поэтому остаются лишь текущие задачи, а для этого достаточно иметь лишь хороших и послушных исполнителей воли партии, а не изобретателей чего-то нового (кроме, разве, нового вооружения). Среди послушных исполнителей, в советское время было много талантливых ученых, некоторые из них были напуганы или раздавлены машиной террора, другие цинично использовали обстановку, многие наивно верили в пропагандистские советские мифы, но почти все из них вынуждены были идти на компромиссы, необратимо деформировавшие их личность.[1]

Если про октябрьскую революцию было справедливо сказано, что "Революция — это бунт полуинтеллигентов против интеллигентов" (М.Алданов), то про советскую власть последнего периода можно смело сказать, что это власть серости, подавляющая индивидуальность.[2]

Неустранимые противоречия между всяким тоталитаризмом, с одной стороны и свободной мыслью и настоящей наукой, с другой; принудительное единомыслие в идеологических вопросах, также свойственное любой тоталитарной системе, имеет автоматическим следствием две важные вещи: оно ведет в конце концов к глобальному интеллектуальному и научному застою и связанному с ним оглуплению масс и примитивизации общественной жизни и, во-вторых, к вытеснению всего талантливого и оригинального изо всех сфер интеллектуальной, научной и политической деятельности, к торжеству серости и вторичности, к деградации науки. Пестование серости и плохо скрываемая нелюбовь к талантам — постоянная советская практика с самых первых ее лет.

Многое из того. что случилось с интеллигенцией и наукой в советское время, особенно в последние годы существования этой власти и после ее краха — было предопределено сутью строя, — это предвидели многие ранние критики режима, см., например, антиутопии Замятина, Оруэлла, Набокова и др. В то же время, трагедия тысяч талантливых людей нескольких поколений, не желавших быть лишь исполнителями, и многих тысяч

[1] "Талантливо жужжит в лакейских советская интеллигенция", — писал в конце 60-х неистовый критик режима А.Белинков. А вот и искренний ответ:

> Нас дети спросят: "Небожители,
> талантливо в лакейских не жужжите ли?"
> А мы в ответ: "Во-первых, не жужжать, вообще не можем,
> Во-вторых, кругом одни лакейские, — так что же?
> А, если не талантливо, то жар души
> Нас, изнутри освободившись, сокрушит!"

[2] Вот маленькое воспоминание о "писателе и ученом" 70-80-х гг. — зав. отделом науки ЦК КПСС С.Трапезникове, проваленном после выступления А.Д.Сахарова на выборах в академию, но внедренного в нее позже; он, точнее, ему, написали книгу "Научно–техническая революция и политика партии", подробно и язвительно прокомментированную анонимным самиздатским автором. Основная идея этого произведения в том, что научно–технический прогресс не вечен и скоро, наконец-то, закончится, а и тогда руководить наукой и учеными станет проще, а пока приходится терпеть. Он-то, бывший до этой должности мелким пропагандистом при Брежневе, и проруководил всей советской наукой семидесятые годы и позже.

не вписавшихся в жесткие и унылые интеллектуальные и поведенческие стандарты, еще по-настоящему не осознана и не прочувствована нашим обществом до сих пор, и лишь поверхностно признана нынешней властью. Это относится и к истории неисчислимых непосредственных жертв террора, среди которых пропала масса нереализованных талантов, и к посылке сотен необученных студентов–ополченцев в месиво войны, когда погибла большая часть научного потенциала того поколения; это относится и к послевоенной истории. Нет и намека на то, что общественность озабочена огромностью этой трагедии.

Среди глубоких причин падения советской власти, — экономических, военных и других, одной из главных стала неразрешимая для любого тоталитарного режима, и, поэтому, так и нерешенная советской властью, проблема установления стабильных взаимоотношений ее с интеллигенцией: неизбежное и все усиливавшееся глухое противостояние власти и наиболее свободомыслящей части интеллигенции, в особенности научной; диктат властной серости и некомпетентности, вытеснение талантов и возвышение послушных ничтожеств — привело ее к логическому концу. Когда же стало невозможным удерживать железный занавес закрытым, он, а вместе с ним и все искусственно построенное и изолированное от динамично меняющегося мира общество, — разваливается.

* * *

Я буду говорить здесь о некоторых аспектах взаимоотношений науки и власти, характерных для 70-х годов, возможно, имеющие значение сейчас.[3]

Отношения науки и советской власти прошли много этапов; их история еще не исследована, она должна быть подвергнута объективному анализу, — ведь почти ни одному из тьмы трудов, написанных на эту тему в советские времена, цензурированных или попросту лживых, доверять нельзя. Например, не очень широко известно. что академия наук в конце 20-х годов, взбунтовалась против ее коммунистического переустройства (вспомним мужественное поведение академика–диссидента тех лет И.П.Павлова), она совсем не походила на чиновную академию 60-70-х, которая скорее была министерством науки с чиновным контингентом, иерархией, но в которой состояли, конечно, и настоящие ученые.[4]

Не входит ли в противоречие заявление о неизбежном застое в интеллектуальной и научной жизни тоталитарного общества с расхожим представлением о расцвете советской науки во все времена существования советской системы? О нем нам непрерывно твердила

[3]Кстати, периодизацию позднесоветской истории следует определять не по десятилетиям: 50-е, 60-е, 70-е и т.д; а по характеру происходившего; очевидно, что так называемые "пятидесятые" — это период 53-64 гг., "шестидесятые" — 64-68 гг., а "семидесятые" — это 68-85 гг. Тех, кого почему-то называют шестидесятниками, правильнее называть пятидесятниками, если бы это термин не имел другого значения.

[4]Последние уже послеперестроечные выборы в АН, хоть и не такие управляемые и лоббируемые сверху, как в 70-х, тем не менее, производят подобное же впечатление из-за избраний в "ученые" чиновников и менеджеров. Трагедия нынешней академии в том, что она сама не может освободиться от чиновничьего и иного балласта, попавшего туда за долгие годы с помощью ЦК, ВПК и пр. С другой стороны, новая бюрократия, атакуя академию, не может предложить ничего принципиально лучшего для сохранения научного потенциала страны, равно как и не может уже предложить достойный новый контингент ученых и администраторов.

советская пропаганда. Но его, безусловно, признают объективные (и даже, ревнивые) западные наблюдатели и ученые, в особенности, если речь идет о теоретической физике, математике и некоторых других фундаментальных направлениях науки. Действительно, мнение мировой науки о высоком уровне математики и физики советского периода — едино. Это мнение стало всеобщим теперь, когда впервые после революции складываются постоянные и широкие контакты между учеными России и остального мира: многие ученые, живущие в России имеют более или менее тесные связи с коллегами на Западе, с другой стороны, там уже постоянно работают сотни ученых из России получивших образование и созревших в научных школах созданным в советские времена. Можно смело сказать, что перед изумленным западным ученым миром вместо немногих "выездных" ученых, появлявшихся время от времени за границей до 90-х гг. и немногих эмигрантов предстало в последние годы многочисленное сообщество ученых из России, с огромным диапазоном знаний, достижений, среди которого большое количество молодых талантов. Научная продуктивность школ, их оригинальность и целый ряд особенностей, не имеющих аналогов на Западе — все это в сравнении с явным нынешним упадком и проблемами, создает впечатление того, что именно советская власть способствовала расцвету науки, а с ее падением наступил кризис и в фундаментальных науках. Не пора ли и здесь подвести итоги? На мой взгляд, никакого противоречия нет, что я и хочу проиллюстрировать ниже.

Прежде всего надо уяснить, что называть расцветом. Тоталитаризм мастерски создает бутафорию науки, а также необходимую ему для милитаристских целей полунауку, в которой перемешаны реальные достижения и с очковтирательством. Эту имитацию науки и научных достижений легко принять всерьез, особенно, когда этим целенаправленно занимаются опытные и умелые академические, министерские и партийные имиджмейкеры. Эта тема также слишком обширна и я не стану здесь развивать ее. Замечу лишь, что именно этой бутафорией гордятся и козыряют нынешние коммунисты, добавляя при этом, что этот "расцвет и достижения" заслуга партии и КГБ. Особенно замечательны недавние "разъяснения" защитников полезности этой системы о том, что и атомную бомбу создали лишь благодаря шпионским рейдам КГБ. Конечно, настоящая наука в стране действительно существовала и имела несомненные достижения, принесшие ей мировое признание. Но дело в том, что этих успехов, как правило, ученые добивались вопреки, а не благодаря "заботам партии и правительства".

Я хочу сказать об этом более определенно, взяв в качестве примера математику — науку, о ситуации в которой в 60-90-х годах я достаточно хорошо осведомлен.

Теоретическая математика занимает особое положение в науке по многим причинам. Главное и сложившееся за многие десятилетия отличие от большинства других наук — в ее определенной изолированности от общепонятного для большинства людей контекста научной и технической мысли; математика до некоторой степени самозамкнута и даже независима от достижений иных наук. Этому не противоречит ни ее близость к теоретической физике, ни блестящие приложения математики в технике и пр. ни смежность некоторых интересов с информатикой, кибернетикой и computer science. Связанная с этим "непонятность" сути математической деятельности для людей, следящих за идеологией в тоталитарном государстве, делает математику и занятия ею менее уязвимыми для всякого вмешательства и властного контроля, если, конечно, как это и было на самом деле, среди самих математиков не появляются свои высокопоставленные идеологические бонзы и блюстители чистоты идеологии, чистоты расы и др. к тому же, облеченные властью. С другой стороны, надежды на занятия осмысленной интеллектуальной деятельностью, относительно свободной от указующего перста начальства, всегда привлекали способную некарьеристски настроенную молодежь советских времен, немалая часть которой могла бы в иных условиях реализовать свои таланты в других областях — писательстве, гуманитарии, бизнесе, политике и пр., что и происходит теперь. Отчасти, это и объясняет тот высочайший интеллектуальный уровень, достигнутый математикой советского периода и обилие в ней талантов.

Немаловажным обстоятельством, было и то, что благодаря удивительным случайностям, преемственность со старой дореволюционной математической школой, ее научными и этическими традициями — сохранилась, особенно в Ленинграде–Петрограде. Увы, в некоторых науках эта преемственность была прервана. Говоря об этом нельзя, хотя бы кратко не сказать об истории. Стоит вернуться на минуту к первым послереволюционным годам. Есть несколько слащавая история, описанная Горьким в его очерке о Ленине, о его посредничестве между Лениным и одним из наиболее видных в то время русских математиков академиком В.А.Стекловым, который согласился сотрудничать с большевиками. Даже из изложения Горького (в очерке фамилия Стеклова явно не упомянута). Ясно, что в 18-20 гг. добровольного сотрудничества ученых с новой властью, конечно, не было. В.А.Стеклов пошел на это не из симпатий к большевикам а из соображений сохранения науки и помощи бедствовавшим тогда ученым. Дальнейшие усилия В.А. сохранить традиции петербургской математической школы все время натыкались на запреты и трудности, хотя ему удалось сделать главное — не дать прерваться в это тяжелое время математическим традициям в Петербурге–Ленинграде. Следует вспомнить, какие потери понесла петербургская математика в те годы: эмиграция академика Я.В.Успенского, профессоров Я.Д.Тамаркина, Я.Безиковича (первый стал невозвращенцем, последний эмигрировал тайно), самоубийство А.М.Ляпунова и др. Благодаря, в основном, ученику В.А.Стеклова В.И.Смирнову (1887-1974), жена которого была расстреляна как заложница в 1918 году, и его окружению, преемственность в математической науке Петербурга–Ленинграда и связь со старыми традициями в значительной мере сохранилась. Обо всем этом стоит помнить, что бы правильно понять, что же произошло в дальнейшем с фундаментальной наукой. Ниточка, соединявшая дореволюционную и мировую науку с последующими поколениями не порвалась, и в этом заслуга не власти, а самих ученых, — вопреки всем невзгодам представители старой науки сумели передать, а новые люди, хлынувшие в науку, восприняли эти традиции. Безусловно, власть сняла ряд ограничений на доступ к образованию в первые годы после революции, и это благотворно сказалось на последующем развитии науки и техники, но сразу же были введены и новые запреты (буржуазное происхождение и пр.), что отрезало от науки массу талантов. В.А.Стеклову удалось в 1921 восстановить одно из наиболее авторитетных научных обществ России, распущенное после революции, — Ст.Петербургское физико–математическое общество. Характерна дальнейшая судьба общества: в начале 30-х гг. после очередной охоты на ведьм, объектами которой стали видные ученые, среди них в Москве академик Д.Н.Егоров — президент московского математического общества, высланный в Казань как “монархист”, и умерший в тюремной больнице в 1931 г.; а в Ленинграде чл.-корр. АН Н.М.Гюнтер, возглавлявший ленинградское физико–математическое общество после смерти В.А.Стеклова. В этой ситуации В.И.Смирнов предусмотрительно предложил обществу заявить о своем самороспуске, чтобы избавить его руководителей от репрессий — тогда в 1931 такой шаг еще помогал.

Позже с авторитетом В.И.Смирнова (как в Москве — И.Г.Петровского — ректора МГУ) власти вынуждены были считаться. Он использовал свое влияние для поддержки подлинной науки в университете и, помимо всего прочего, помог многим способным людей, затиравшимися административной системой.

* * *

Но вернемся в 70-е и более близкие годы. Это — время постепенного распада советской системы. После ложных надежд части интеллигенции в конце 50-60-х гг. на либерализацию режима, наступает понимание (особенно после Чехословакии) того, что система уже неспособна измениться. Власть делает отчаянную попытку сохранить общие черты режима, ничего не меняя по существу. Кадровый террор в науке выражался теперь в том, что все уровни подготовки и работы научных кадров прием в университеты, аспирантуру, защита диссертаций, прием на работу, присуждение степеней и званий, поездки за рубеж, контакты с мировой наукой — были под жесточайшим контролем власти, действия которой сводились к тому, чтобы все сколько-нибудь важные места были заняты управляемыми послушными, а еще лучше — своими людьми. Новая тенденция, постепенно сложившаяся в послесталинские годы, состояла в том, что выработалось полное взаимопонимание между партийными и кадровыми (т.е.кгбешными) органами — кадровые комиссии парткомов стали практически официальными инстанциями, решавшими кого и куда можно принимать, продвигать и т.п. Это слияние функций партии и органов по кадровым вопросам, союз явных и тайных служб сложился окончательно именно к этому времени (конец 60-х, 70 годы) и уже перестал удивлять кого бы то ни было. Любопытно и отчасти парадоксально, что в сталинские времена были еще возможны — по личному соизволению Сталина — назначения явно (или внешне) неортодоксальных, скажем, беспартийных, но весьма компетентных специалистов на важные научные и организационные посты. В брежневские времена такого быть не могло: анкетные критерии были почти единственными.

К чему это привело? Прямым следствием практической деятельности власти, как я уже говорил, стало вытеснение талантов; наука загонялась на обочину или туда, где до нее добиралась лапа партийно–государственного руководства. Это относилось к судьбам почти всех (я говорю о математиках) ученых, составивших славу нашей математики. Мировая слава нашей математика неоспорима и общепризнана и сейчас. Но кем она создана?

В очень небольшой степени — официально поддерживаемыми, лояльными к власти учеными. Достаточно сравнить список тех, кого официально выдвигал и поддерживал самоназначенный национальный комитет советских математиков, со списком тех, чей авторитет был действительно высок, кого приглашала на международные конгрессы и конференции мировая научная общественность, к кому приезжали учиться или проконсультироваться. И мы увидим, что пересечение списков — ничтожно. В большинстве люди из второго списка — это те, кого не принимали, не утверждали, не выпускали за границу, кто работал в каких-то шарашках и далеких от математики дырах — из-за того, что не мог устроиться по специальности и т.п. Даже среди тех, чья судьба складывалась относительно удачно, официальное признание властей чаще всего не совпадало со статусом настоящего специалиста. Жалкие попытки объявить это несовпадение результатом враждебной или сионистской деятельности — вызывает лишь презрение. Особую роль в установлении такого климата в математике в 70-х играли бонзы большого калибра — академики И.М.Виноградов, Л.С.Понтрягин и др. Это были в прошлом очень крупные ученые, внешне во всяком случае не принадлежавшие партийно–государственной номенклатуре, и которые фактически, (но не буквально) заключили с властью своеобразный негласный договор, по которому они осуществляют от своего имени политику в математике, устраивавшую как их, так и власть. Их собственная власть в математике была неограниченной: они директорствовали долгие годы в академическом институте математики, кроме того все важные административные органы — ВАК (занимавшийся присуждением степеней и званий), т.н. национальный комитет советских математиков (ведавший выездами на конгрессы и международные конференции), редакции ведущих журналов (определяющие, чьи статьи публиковать, а чьи — нет), издательский комитет (дающий разрешение на выпуск книг) и многое другое — все — было полностью в руках, этой узкой группы олигархов. Это делало почти всех математиков их заложниками. Скандалы, связанные с отклонением прекрасных диссертаций, препятствия публикациям, выездам на конгрессы неугодным лицам — стали нормой математической жизни в те годы. Например, национальный комитет советских математиков мог позволить себе (1974) разослать в институты и университеты письма с настоятельной рекомендацией воспрепятствовать посылке на международный математический конгресс в Ванкувере лиц, которые были приглашены в качестве докладчиков организаторами конгресса, но, которых не одобряет этот комитет. Нет нужды говорить, что их политика была резко антисемитской, но еще более важным для них было отличать “своих” от “чужих”, а в “чужие” попадали не только евреи, но и большая часть активных математиков. Достижения, заслуживающие поддержки и внимания и, даже премий или избраний в Академию, — игнорировались или замалчивались, если речь шла о неугодных истеблишменту лицах. Постепенно эти стареющие властители полностью потеряли контакт с наукой и с действительностью, — их деятельность нанесла колоссальный вред нашему математическому сообществу.

О моральном уроне международному авторитету официальной советской науки можно и не говорить, — очень скоро и на Западе в основном правильно оценили роль этих людей и удивлялись политике, которая на деле приносила вред отечественной математике. Предстоит еще понять далекие последствия этой деятельности; во всяком случае среди других причин утечки мозгов и эмиграции математиков немалую роль сыграла ситуации в самой науке, которая сложилась в 70-х гг.

Есть еще одно важное обстоятельство. Среди социальных болезней советского общества, одна из самых трудноизлечимых — его моральная деградация, выражающаяся в частности в характере отношений межу людьми, учеными, коллективами. Как только анкетный принцип стал ведущим в кадровом отборе и даже обязательным при приеме в институты, в престижные коллективы, при выдвижениях на премии, посылке за границу и пр. — так сразу же становится возможным использовать его в борьбе с научным соперником или с оппонентом по конкурсу, претендентом на какое-то звание. Вдруг в ход в "научном" споре идет довод, что у конкурента есть родственники за границей или он не ходит на демонстрации, или у него жена еврейка, или он подписал письмо, не так голосовал и т.д. Такой метод мышления стал обычным в советские годы, он воспитывал ловкачей и подхалимов. Не секрет, что научная и даже студенческая среда были нашпигованы доносчиками и результаты обработки доносов сообщались руководству.

Хорошо бы взять какой либо солидный университет, скажем, ленинградский или академический институт, и проследить, как в результате подобной деятельности постепенно изгонялись известные таланты, хирели и умирали прекрасные научные школы, как пролезали в ведущие администраторы проходимцы и ставленники партаппарата и КГБ, как делались липовые научные репутации и торжествовала серость, и, может быть, самое главное, — как уродовалась молодежь, приучаемая к прислужничеству, двоемыслию, как тысячи, может быть, десятки тысяч абитуриентов наткнулись на хорошо организованные издевательские приемные экзамены, цель которых — не пустить неугодных. Сколько загубленных судеб, талантов!

Все это — лишь беглый список дел, которые входили в обязанности парткомов, кадровиков — сотен людей, среди которых попадались и ученые. Хочется подчеркнуть еще раз, что в брежневские годы все эти процессы шли как бы по инерции, сами собой; системе не надо было прилагать усилий для этого, устраивать публичные показательные действия, как в былые времена. Рутинный характер, привычность происходящего — лучшее свидетельство застоя, предвестника полного разложения.

Посредственности из администраторов усердно помогали власти отгораживать, оттеснять науку. Можно привести десятки примеров. Вот один из них. Факультетский чиновник, (дело происходит в МГУ) узнает что один выдающийся математик (В.И.Арнольд) входит в состав редакции международного журнала, но не испросил на это разрешения; этого оказалось достаточно, чтобы не дать ему нужную характеристику для поездки на международный конгресс математиков в Варшаве, на который тот был приглашен, как один из немногих основных докладчиков.

Другие примеры из жизни математического факультета ЛГУ. Всемирно известному математику В.А.Рохлину (1919-1984) создавшему в ЛГУ один из лучших в мире семинаров по топологии, не дали оставить в университете за 20 лет работы почти никого из его выдающихся учеников. Тем самым, это университет сам лишил себя блестящей школы, представители которой сейчас входят в элиту мировой науки. Они эмигрировали в 70-80-х гг. и в настоящее время работают в лучших университетах Запада.

Судьба Рохлина заслуживает отдельного рассказа, упомяну здесь лишь то, что мелкие университетские вертухаи выгнали его на пенсию как только ему исполнилось 60; они не могли простить этому замечательному ученому его независимый характер, лагерное прошлое и сталинский лагерь, эмиграцию его сына. Я хорошо помню, что, когда в 1979 году я организовал заседание посвященное его 60-летию, в партбюро поднялся переполох и секретарь пошел советоваться в райком, о том, что ему делать. Правда лишь позже я понял причину их особого беспокойства: заседание проходило по чистой случайности 10 декабря, в день защиты прав человека и бдительные парткомовцы усмотрели в этом опасную вылазку политических врагов (так я был квалифицирован одним из университетских чиновников в штатском).

Почти никто из моих лучших учеников не был принят в 70-80-х гг. в аспирантуру, а если иногда это и удавалось с невероятным трудом, то ни разу не удалось оставить кого-либо из них в университете или даже устроить в другое подходящее место. Один из них перед эмиграцией спросил, есть ли надежда, что я смогу в обозримом будущем взять его на работу в какую-либо лабораторию, кафедру и др., чтобы он мог продолжать научную работу — речь идет об очень способном человеке, — я честно сказал, что такой надежды у меня нет. Более того, если я ходатайствовал за хорошего школьника поступающего на мат–мех, или за будущего аспиранта, — то он определенно не поступал. На какое-то время меня вообще лишили права брать аспирантов, даже если они до этого писали диплом под моим руководством. Именно в эти годы и было запрограммировано то, что произошло позже: все эти молодые таланты, неподошедшие кадровикам из ЛГУ, с успехом подошли MIT, YALE, SUNY, IHES и другим заведениям в США, Франции, Англии.

На примере университета легко проследить как тогдашние критерии лояльности сами собой приводили к отторжению активных ученых. Например, профессором не мог стать человек, не желающий окончить так называемый университет марксизма–ленинизма. Занятия "общественной работой" были обязательны для получения положительных характеристик (для прохождения конкурсов и пр.); в понятие же "общественной работы" входило лишь участие в так или иначе связанных с идеологией мероприятиях. В течение долгого времени я занимался делами ленинградского (теперь Ст.Петербургского) математического общества — организацией сугубо научной и неподвластной университетскому начальству. В разумном понимании эти занятия должны называться общественной работой, но университетский чиновник заявил: "Какая же это общественная работа, если ему она нравится". Был еще один пункт, на котором проверялась лояльность это — "картошка": начиная с 50-х и кончая 80-ми выезды на сельскохозяйственные работы, без которых обессиленное советской властью сельское хозяйство не могло существовать, — стали политическим мероприятием; каждый год студенты, возглавляемые преподавателями и профессорами выезжали на месяц в села, и те преподаватели, которые отказывались от этой проверки на лояльность, рисковали многим.

Влияние КГБ на научную жизнь было разрушительным не только в кадровых вопросах. Система так называемых актов экспертизы на научные публикации ставила препятствия к опубликованию статей многих людей, так как получить такой акт человеку, не работавшему в научном учреждении или в непрофильном (по отношению к статье) учреждении было практически очень сложно. Бессмысленность этой процедуры была очевидна всем, т.к., как правило, никаких секретных сведений теоретико–математические работы не содержат.

Особенное возмущение вызывает террор при приеме в университет, о котором я упоминал выше. Здесь есть две стороны: то, как это делалось, и то, зачем это делалось. Я знаю, наверно, сотни таких историй и сейчас еще узнаю новые и новые. В 70-80-х годах техника отклонения талантов, особенно в МГУ, стала весьма изощренной: специальные люди, придумывавшие задачи для приемных экзаменов, которые практически невозможно решить; специальные методы подбора групп абитуриентов, предназначенных для отклонения; особые приемы отфутболивания защитников и родителей при аппеляциях. Среди лиц, выполнявших этот партийный заказ были очень

разные люди, некоторые из них шантажировались из-за какой-либо провинности, другие делали это с удовольствием. В ЛГУ дело было поставлено поскромнее. Абитуриентов–математиков "заваливали" физики или литераторы, а заказывал отклонения, конечно, — партком вместе с отделом кадров, контролировавший работу всех приемных комиссий. Представить себе чувства и моральную травму, не ожидающего подвоха на приемных экзаменах, молодого человека — нетрудно. Во многих случаях цинизм принимающих доходил до того, что они не считали нужным маскировать то, что они делают — безусловно правильное решение задачи объявлялось неправильным и пр. Трудно представить себе размеры потерь России за десятилетия этого позора. Вопрос, зачем это делалось не имеет на мой взгляд, разумного ответа. Конечно, 70-е годы есть годы (как и настоящие) расцвета коррупции, блата и, поэтому, прием в престижные вузы требовал расчистки мест для детей функционеров и коррупционеров. Но это лишь часть дела. Известно, что существовало постановление ЦК (1975-76) по кадровым вопросам, в котором, как мне говорили, в витиеватых выражениях, истолкование которых, впрочем, могло быть однозначно, было определено, что прием в престижные вузы "...лиц, чья национальная принадлежность связана со странами, ведущими антисоветскую политику..." как и их продвижение по службе должно быть ограничено. Мы до сих пор не знаем ничего достоверного об этом постановлении, которое, по-видимому стало настольной инструкцией поколений кадровиков и парткомов. Но суть здесь не только в антисемитизме (кстати под вышеприведенную формулировку подходят и немцы, греки, китайцы...) или в ограничениях по национальным или политическим мотивом. Главное в том, что ДОЗВОЛЕНО и даже предписано официально проводить отбор. Зачем? — Только, для того, чтобы иметь послушные, надежные и совсем не обязательно способные кадры. Таланты система обязана была сдерживать как потенциальный источник неуправляемости. Эта недальновидная и разрушительная политика привела в конце концов к трудно преодолимому кризису во всех сферах жизни страны. Непрофессионализм ("чернобыльство") стал причиной разрушительных тенденций в экономике, политике, науке. Один из вопиющих и близких нам примеров непрофессиональности и головотяпства в научной политике был перевод Ленинградского университета в Петергоф; уже давно стало очевидным, что это привело к разорению научной и учебной жизни на всех переехавших факультетах университета.

Хотелось бы составить белую книгу обо всех этих делах. Прошло почти 10 лет гласности — но много ли мы услышали об этом? Ведь жертвы живут в пределах досягаемости, у них можно взять интервью. А функционеры и гонители науки занимают те же посты, и подчас даже посты повыше, — их тоже можно проинтервьюировать. Когда в 1987 году я попытался опубликовать нечто на тему о приеме в университеты в либеральных "Московских новостях" и встретил категорический отказ — я не удивился. Но вот недавно я вместе с соавтором–москвичом А.Шенем опубликовал статью в журнале "The Mathematical Intelligencer" "О приеме на математические факультеты в 70-80-х гг.", где на примерах, в основном, из МГУ рассказывалось о том, как происходил неприем "неугодных" абитуриентов. Там были приведены т.н. гробовые задачи, которые может решить не каждый профессор, фамилии экзаменаторов и организаторов того, что названо "газовыми камерами для абитуриентов" (учитывая, что главный, но не единственный, контингент неугодных — евреи). Эта публикация не вызвала откликов ни здесь, ни на Западе; других статей последних лет на эту тему я не знаю. Среди упомянутых в ней фигур–организаторов и нынешний ректор МГУ (тогда активный партфукционер в МГУ), и недавний секретарь парткома ЛГУ, и многие другие тогдашние активисты выполнения указаний партии по кадровым вопросам, — всех их, видимо, это сейчас не волнует — они занимают видные посты и занимаются строительством новой России; страх разоблачений — прошел, признаваться незачем. До сих пор общественность не знает многих важных подробностей, относящихся к практике тех лет, например, упомянутого секретного постановления ЦК по кадровым вопросам, равно, как и других деталей "партийного руководства". Любопытно, что в случае надобности, например, во время предвыборной кампании, нынешняя власть любит поговорить о преступлениях советской власти в 30-40-х гг., но о не столь кровавой, но столь же разрушительной по отношению к своей стране деятельности власти в 60-80-х годах, она хранит молчание. То ли из-за соучастия, то ли из-за полуодобрения — не знаю.

Я говорю не об охоте на ведьм или о какой-то мести — это как раз во нравах коммунистической и тоталитарной системы, — но без внятного разговора об этом — мы не сможем освободиться от этой смрадной черты советского прошлого. С другой стороны — это также вопрос о доверии к новой власти, — его не может быть, если бывший активист брежневской эпохи, становится видным функционером и в 90-х толкует о демократии или устраивает вечер памяти жертв режима, притом, что люди постарше прекрасно помнят как каралась борьба за истинную демократию или разговор о жертвах террора и какое он сам принимал участие в этих карах.

С другой стороны были и благородные люди, которые рискуя карьерой, не побоялись поднять голос в своих институтах и университетах против этих мерзостей. Их имена также должны стать известными. С.П.Меркурьев — покойный ректор СтПГУ, с которым я обсуждал возможность изучения истории университета с этой малоприятной стороны, был готов помочь в этом; архивы парткома ЛГУ, по какой-то причине тогда (в 1992) были доступны, и не спрятаны после путча, как это случилось со многими другими архивами. Но он предупредил, что вряд ли я найду желающих профессионально заняться таким исследованием: люди продолжают бояться начальников тех лет, оставшихся в силе и сейчас; и он был прав, как я убедился вскоре: сохранявшие власть и слегка "перестроившиеся" коммунисты тех лет сумели запугать нескольких порядочных историков, к которым я обратился. Боюсь, что момент и возможности уже упущены, пример тому — проваленный (не специально ли?) суд над КПСС. Видимо, историей уничтожения науки займутся, наверно, исследователи середины 21 века. Надеюсь, обязательно займутся.

* * *

Существенная черта жизни интеллигенции и, в частности, научной интеллигенции — эмиграция 70-х гг. Я не стану говорить о ней во всем охвате, но кое-что связанное с темой этой статьи хочу отметить. Когда мы говорим об этом, то следует помнить, что хотя она была заявлена как еврейская эмиграция, но по сути была не столько национальной а социальной и политической, во всяком случае, если говорить об ученых. И именно в таком качестве она продолжилась в 90-х, когда практически стала доступной уже для всех. Само разрешение эмигрировать было многоцелевым и вряд ли сделано было только под давлением извне. Оно якобы решало (по мнению решавших) много проблем, и в частности, ту самую проблему недовольных, будировавших общество и доставлявших постоянное беспокойство властям. Ссылка на еврейскость эмиграции была удобным основанием для усиления ограничений и разжиганию низкопробных страстей. Но на деле, что касается способных ученых, эмиграция в основном, объяснялась причинами, указанными выше — коротко — невозможностью реализовать свой дар. Я мог бы привести целый ряд примеров напрямую доказывающих, эмиграция стала следствием невостребованности ученого. Как иначе понимать, например, следующую историю: после защиты докторской диссертации в ЛГУ тогда (1972) очень молодым математиком, а сейчас одним из самых выдающихся геометров мира, его вызывают к декану и предлагают перейти на более низкую незначительную должность вместо того, чтобы предложить место профессора или доцента, где этот математик был бы столь полезен факультету и студентам; он уходит из университета и вскоре уезжает. Запреты на упоминание уехавших в научных работах стали непременным цензурным требованием; неугодными становились даже те, кто не хотел безоговорочно ругать отъезжавших (покойную преподавательницу ЛГУ О.Бондареву больше десяти лет мытарили только за то, что она на студенческом собрании, где нужно было осудить уезжавшего студента посмела сказать, что его нужно пожалеть, а не осуждать). По-видимому, на первых порах властям казалось, что эмиграция станет малозаметным частным делом. Выглядела поразительной тогда, и тем более с сегодняшних позиций уверенность властей в том, что только отдельные ученые недовольны положением в стране и своим собственным, и не доверяют властям. Эта уверенность всегда подогревалась созданным самой советской властью двоемыслием, которое вынуждало людей демонстрировать внешнее одобрение властей, что могло совсем не соответствовать их истинному отношению. Научный потенциал, потерянный страной в 70-80 гг. — огромен.

Но и корни перестроечной научной эмиграции, имеющей иную мотивацию, также лежат в старой политике, доведшей до изжоги многих из тех, кто не так уж и плохо был устроен в те годы. Между ними есть и такие, кто весьма успешно существовал в советское времена, а есть (их не очень много) и те, кто помогал властям и официозу в их сомнительных действиях. Между прочим, чаще всего именно такие утекшие мозги пишут статьи о том, что Россия обойдется и без науки. По-своему они последовательны, т.к. и здесь они паразитировали на науке. Можно сказать, что в 70-е годы было сделано все возможное для скорого разложения общества и его науки. К началу 80-х гг. политика и дела партии уже привела к необратимым изменениям в структуре советской науки и ее нынешнее незавидное положение уже было предопределено этим, а 90-е годы показали глубину кризиса. И счет предъявлять нужно не столько нынешним, сколько прошлым властителям; поправить что-либо уже даже в середине 70-х было невозможно. Мой краткий анализ может показаться слишком мрачным, особенно тем, кто привык видеть глянцевую обложку жизни. Конечно, и в университетах, и академических институтах было немало другого, можно было при большом желании жить внутри этой системы, не замечая всего, что скрывалось под оболочкой внешнего благополучия. Не видя повсеместного проникновения и торжества серости, всеобщего снижения научного уровня, безобразной кадровой политики и т.д. Можно лишь посочувствовать таким господам, слепота — большое несчастье.

* * *

И тут естественно поговорить о другой стороне дела. Как в те годы научная общественность воспринимала положение в стране, в науке? Было ли понимание ложности самих принципов, на которых построено советское общество? У нас нет никаких данных опросов — тогда их не делали или делали для КГБ и засекречивали. Поэтому надежных утверждений о том, как воспринималась советская действительность людьми, в какой мере люди понимали что общество близко к коллапсу — сделать нельзя. Но есть косвенные показатели: стоит заметить, что из всех социальных групп научная среда дала, я думаю, больше всего диссидентов, подписантов и пр. При этом нужно оценивать не только число тех, кто был на виду, но и включать тех, кто был скрыт от глаз властей.

Было время, когда открытое сопротивление было равносильно самоубийству. Однако, начиная с конца 50-х когда в чуть-чуть раскрепощенном обществе, стало возможным приоткрывать рот и высказывать собственное мнение — в научной среде оппозиционные по отношению к власти настроения стали фактом. В возникновении сам- и тамиздата и, особенно, в его распространении эта среда сыграла существенную роль. Все еще не так много написано об этом. Хочу добавить несколько слов. На прямой вызов властям шло не так много ученых; для этого надо было поставить гражданские цели выше личных и научных. Это удел немногих, среди которых великий А.Д.Сахаров. Мы не можем сравнивать вес всех стимулов; истинный ученый может не захотеть бросать свою науку и предавать свой Богом данный дар — физику, генетику — даже во имя светлых целей. Но опора сопротивлению в научной среде была, как я думаю, куда шире, чем в любой другой социальной группе, включая литераторов и др. В 70-ые годы, политика четко расслаивала научную среду по принципу отношения к власти. Любопытный срез этого процесса см. в недавней публикации Ю.Глазова в "Звезде", относящейся к эпохе "подписанства". Другой пример — громкая история невинного письма в защиту посаженного в психушку математика Есенина–Вольпина, подписанная 99 московскими математиками. Из-за громких имен подписантов этой историей занималось аж Политюбро. Результатом было отлучение от защит, поездок и даже работы десятков людей. Трудно дать оценку числа тех ученых, которые активно или молчаливо сочувствовали сопротивлению власти, или даже участвовали в нем. Их число резко возросло после Чехословакии и 68-го года, когда стало ясно, что никакой надежды на демократическую эволюцию советского режима уже нет. Но ясно одно — заявление (например, М.С.Горбачева) о том, что вся активная политически часть интеллигенции была в партии или стремилась в партию, — вздорно, как и индульгенция вступления в партию даваемая часто, как якобы акции, дающей выход своей деловой и политической активности, и призванной, "улучшить" партию изнутри. К 70-м гг. или, тем более позже, эта аргументация становится смехотворной. Мне кажется, что в научной среде было вовсе не так. Вступали в партию и играли по ее правилам лишь те, кто откровенно желал сделать карьеру (за исключением, быть может клинических случаев глупости, не столь частых в этой среде). Интересно было бы проследить пути самиздата и выяснить, какая его часть вращалась в научных кругах. Случилось так, что через меня проходило очень большое количество самиздатской литературы. Наибольшим спросом пользовалась литература об истории страны. Это и понятно, правдивая история принципиально замалчивалась ничтожной брежневско–андроповской властью, преследовавшей всякую правду о сталинских и иных временах, а так же тех, кто о ней писал и даже говорил вслух. Получилось так, что в моем распоряжении в конце 70-х оказался экземпляр знаменитой книги Р.Конквеста "Большой террор". За небольшое время ее прочли около сотни друзей и знакомых. (Кстати, именно этот экземпляр журнал "Нева" использовал для опубликования книги в 1990 году). То же можно сказать о выпусках замечательного альманаха "Память", выпускавшегося тогда же. Вскладчину мы заказывали перепечатку статей и книг — Е.Гинзбург, А.И.Солженицына и др. Позже появилось много неподцензурных изданий, тамиздатских и журналов, выпускаемых здесь, среди которых самых острой и опасной для распространения была, конечно, "Хроника текущих событий". Во многих из перечисленных изданий, несмотря на очевидную опасность участвовала научная интеллигенция, особенно, молодежь. Попутно хочу рассеять одно распространенное, небезобидное и внедряемое сейчас многими заблуждение: те, кто имел возможность читать серьезную самиздатскую литературу в середине 70-х гг, знает, что в материалах об экономической ситуации в стране приводились факты и их анализ (например в самиздатском журнале "Поиски"), показывающие неизбежность глобального кризиса советской экономики, предположительно, в начале 90-х годов. Это предсказание (вполне научное) сбылось и поэтому смешно слушать вопли о развале экономики страны в результате перестройки; как и утверждения о том, что система была вполне жизнеспособной. Замечу, впрочем, что в своем первом самиздатском сочинении — "Трактате", написанном в 1968 году А.Д.Сахаров еще писал, что социализм и капитализм — сыграли в ничью. Вообще же, в научном самиздате, если не говорить об исторических исследованиях, независимые экономические разработки были недостаточно представлены. Следствием и показателем этого явилось, к сожалению, не готовность общества и его будущих потенциальных руководителей к тем необходимым переменам в экономике и остальной жизни, которые обрушились на всех позже. Я хотел бы рассказать еще об одном эпизоде, в котором участвовал и я — о журнале “Сумма”. Он связан прежде всего с семьей, увы покойных, Сергея и Нины Масловых. Сергея я помню лобастым школьником — он был когда-то в моем школьном кружке десятиклассником, когда я был на 5 курсе мат–меха. Сергей был очень успешным математическим логиком с ярко выраженными гуманитарными наклонностями. К нему в полной мере относится то, что я говорил выше об ученых, отвергнутых официозом после короткого периода (начало 60-х) видимой гармонии и защиты докторской диссертации. Главная его черта — незашоренность мышления; его нонконформизм был внутренним свойством. Это не могло не привести его в ту или иную степень (на самом деле, все большую) близости к диссидентству. Но он избегал слишком прямолинейной, открытой политической активности и конфронтации в духе другого математика, известного своим диссидентством — Револьта Пименова, Сергей был более академичен. Начиная с 76-77 гг. мы с ним (а также он с другими друзьями) начали активно обсуждать возможность издания самиздатского реферативного журнала. Через нас по разным каналам проходила масса сам- и тамиздатской литературы. Чтение ее отнимало массу времени, кроме того, хотелось сделать ее известной как можно более широкому кругу людей. Возникла идея реферативного журнала, как это принято в научной литературе — журнала с кратким изложением книг и статей, с рецензиями и полемикой, как бы ориентира в огромном море этой литературы. К 1978 году идея вполне созрела. С.Маслов предложил назвать журнал “Время собирать камни”, я — “Резюме”, сошлись на компромиссном и удачном названии “Сумма” (или “Сигма” по математическому символу суммы). Первый номер вышел в начале 1979 года. Я писал об этом журнале в “Звезде” в 1991 г., где приводились некоторые выдержки из “Суммы”, были и другие упоминания и статьи о “Сумме”. Среди авторов были ученые — математики, биологи, филологи. Журнал велся в основном Масловыми скрытно и аккуратно, перепечатки делались и в Москве. К счастью, в сравнительно узкий круг авторов и их помощников в Ленинграде и Москве не проникли стукачи, и КГБ не удалось, как ни хотелось им, раскрыть “Сумму”. Удалось издать 8 выпусков (два спаренных), но материала было накоплено еще на два выпуска. Последний номер (конец 1982 г.) вышел уже после неожиданной гибели Маслова. Комплекты журнала есть в в Московском и Питерском “Мемориале”, в университете Berkeley (США). Сейчас важно пока не поздно издать журнал полностью (около 1000 страниц). Это замечательный документ. Кстати, в нем неоднократно писалось и о положении в науке.

В частности, я рецензировал в “Сумме” скандальную автобиографию Л.С.Понтрягина, опубликованную в математическом журнале и, кажется, выходящую вскоре полностью, — это поразительный текст, написанный озлобленным человеком, настаивающим на тех своих “принципах”, о которых шла речь выше. Это тем более печально, что автор был не только когда-то выдающимся математиком , но и проявлял не раз гражданскую смелость в первые послевоенные годы. Именно он вместе с А.Н.Колмогоровым написал в 1946 году письмо министру МВД с просьбой вмешаться в судьбу В.А.Рохлина, томившегося в лагере в проверочном, куда он попал после немецкого лагеря). Приводилось в “Сумме” и письмо группы иностранных математиков “О положении в советской математике”, множество сахаровских материалов, обзоры “Хроники текущих событий”, “Поисков” и других журналов. Активно сотрудничал в “Сумме” Р.И.Пименов — математик и известный правозащитник, а в последующем активный политик.

Упомяну еще одну маленькую историю. В феврале 1980 Сережа пришел ко мне и предложил написать письмо в защиту А.Д.Сахарова. С его женой — Е.Г.Боннер Сережа и Нина поддерживали контакт и до, и во время ссылки Сахарова. За несколько дней до этого А.Д. был избит в Горьком. Мы написали совсем невинное письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться в инциденте, упомянув, что Е.Г. — инвалид войны. Далее мы попытались собрать подписи среди коллег. Но нашли только три: Сережа, Нина и я. Письмо, несомненно, попало “по адресу”. Сережу вызвал директор института, в котором он работал и предложил перейти с кафедры в лабораторию. Вскоре ему пришлось совсем уйти из института. Ко мне и Нине (мы работали на математико–механическом факультете) санкции были иные. Нина вскоре также ушла с факультета.

Хочется закончить следующим вопросом. Почему сейчас так мало от того духа, который царил в 60-70-е гг. в либеральных кругах интеллигенции? Вряд ли это можно объяснить только эмиграцией части этих кругов. Голос тех, кто после долгих лет немоты формировал зарождавшееся независимое общественное мнение, сейчас постыдно слаб. Нас так часто учат жить люди и близко не стоявшие к свободомыслию до 87-91 годов. Мы слышим тех (политиков, журналистов, актеров, певиц, режиссеров), большинство из которых были пропагандистами развитого социализма в 70-е годы. Они все с большей и большей гордостью заявляют об этом. Ученых почти не слышно. Я не ставлю вопрос о непосредственном участии в политике либеральной интеллигенции или диссидентов тех лет — они не стремились и не должны стремиться участвовать в ней. Но где их голос?

Вершик Анатолий Моисеевич,
Заведующий лабораторией
Математического Института РАН,
профессор СтПГУ.